**Борис Екимов**

**НОЧЬ ИСЦЕЛЕНИЯ**

**Рассказ**

Внук приехал и убежал с ребятами на лыжах кататься. А баба Дуня, разом оживев, резво суетилась в доме: варила щи, пирожки затевала, доставала варенья да компоты и поглядывала в окошко, не бежит ли Гриша.

К обеду внук заявился, поел, как подмел, и снова умчался, теперь уже в лог, с коньками. И снова баба Дуня осталась одна. Но то было не одиночество. Лежала на диване рубашка внука, книжки его – на столе, сумка брошена у порога – все не на месте, вразлад. И живым духом веяло в доме. Сын и дочь свили гнездо в городе и наезжали редко – хорошо, коли раз в год. Баба Дуня у них гостила не чаще и обыденкою вечером возвращалась к дому. С одной стороны, за хату боялась: какое ни есть, а хозяйство, с другой…

Вторая причина была поважнее: с некоторых пор спала баба Дуня тревожно, разговаривала, а то и кричала во сне. В своей хате, дома, шуми хоть на весь белый свет. Кто услышит! А вот в гостях… Только улягутся и заснут, как забормочет баба Дуня, в голос заговорит, кого-то убеждает, просит так явственно в ночной тишине, а потом закричит: «Люди добрые! Спасите!!» Конечно, все просыпаются – и к бабе Дуне. А это сон у нее такой тревожный. Поговорят, поуспокаивают, валерьянки дадут и разойдутся. А через час то же самое: «Простите Христа ради! Простите!!» И снова квартира дыбом. Конечно, все понимали, что виновата старость и несладкая жизнь, какую баба Дуня провела. С войной и голодом. Понимать понимали, но от этого было не легче.

Приезжала баба Дуня – и взрослые, считай, ночь напролет не спали. Хорошего мало. Водили ее к врачам. Те прописывали лекарства. Ничего не помогало. И стала баба Дуня ездить к детям все реже и реже, а потом лишь обыденкою: протрясется два часа в автобусе, спросит про здоровье и назад. И к ней, в родительский дом, приезжали лишь в отпуск, по лету. Но вот внучек Гриша, в годы войдя, стал ездить чаще: на зимние каникулы, на Октябрьские праздники да Майские.

Он зимой и летом рыбачил в Дону, грибы собирал, катался на коньках да лыжах, дружил с уличными ребятами,– словом, не скучал. Баба Дуня радовалась.

И нынче с Гришиным приездом она про хвори забыла. День летел невидя, в суете и заботах. Не успела оглянуться, а уж синело за окном, подступал вечер. Гриша заявился по-светлому. Загромыхал на крылечке, в хату влетел краснощекий, с морозным духом и с порога заявил:

– Завтра на рыбалку! Берш за мостом берется. Дуром!

– Это хорошо,– одобрила баба Дуня. – Ушицей посладимся.

Гриша поужинал и сел разбирать снасти: мормышки да блесны проверял, на полдома разложив свое богатство. А баба Дуня устроилась на диване и глядела на внука, расспрашивая его о том о сем. Внук все малым был да малым, а в последние год-два вдруг вытянулся, и баба Дуня с трудом признавала в этом длинноногом, большеруком подростке с черным пушком на губе косолапого Гришатку.

– Бабаня, я говорю, и можешь быть уверена. Будет уха и жарёха. Фирма веников не вяжет. Учти.

– С вениками правда плохо,– согласилась баба Дуня. – До трех рублей на базаре.

Гриша рассмеялся:

– Я про рыбу.

– Про рыбу… У меня дядя рыбалил. Дядя Авдей. Мы на Картулях жили. Меня оттуда замуж брали. Так там рыбы…

Гриша сидел на полу, среди блесен и лесок, длинные ноги – через всю комнатушку, от кровати до дивана. Он слушал, а потом заключил:

– Ничего, и мы завтра наловим: на уху и жарёху.

За окном солнце давно закатилось. Долго розовело небо. И уже светила луна половинкою, но так хорошо, ясно. Укладывались спать. Баба Дуня, совестясь, сказала:

– Ночью, може, я шуметь буду. Так ты разбуди.

Гриша отмахивался:

– Я, бабаня, ничего не слышу. Сплю мертвым сном.

– Ну и слава Богу. А то вот я шумлю, дура старая. Ничего поделать не могу.

Заснули быстро, и баба Дуня, и внук.

Но среди ночи Гриша проснулся от крика:

– Помогите! Помогите, люди добрые!

Спросонья, во тьме он ничего не понял, и страх обуял его.

– Люди добрые! Карточки потеряла! Карточки в синем платочке завязаны! Может, кто поднял? – И смолкла.

Гриша уразумел, где он и что. Это кричала баба Дуня. Во тьме, в тишине так ясно слышалось тяжелое бабушкино дыхание. Она словно продыхивалась, сил набиралась. И снова запричитала, пока не в голос:

– Карточки… Где карточки… В синем платочке… Люди добрые. Ребятишки… Петяня, Шурик, Таечка… Домой приду, они исть попросят… Хлебец дай, мамушка. А мамушка ихняя… – Баба Дуня запнулась, словно ошеломленная, и закричала: – Люди добрые! Не дайте помереть! Петяня! Шура! Таечка! – Имена детей она словно выпевала, тонко и болезненно.

Гриша не выдержал, поднялся с постели, прошел в бабушкину комнату.

– Бабаня! Бабаня! – позвал он. – Проснись…

Она проснулась, заворочалась:

– Гриша, ты? Разбудила тебя. Прости, Христа ради.

– Ты, бабаня, не на тот бок легла, на сердце.

– На сердце, на сердце… – послушно согласилась баба Дуня.

– Нельзя на сердце. Ты на правый ложись.

– Лягу, лягу…

Она чувствовала себя такой виноватой. Гриша вернулся к себе, лег в постель. Баба Дуня ворочалась, вздыхала. Не сразу отступало то, что пришло во сне. Внук тоже не спал, лежал, угреваясь. Про карточки он знал. На них давали хлеб. Давно, в войну и после. А Петяня, о котором горевала бабушка,– это отец.

В жидкой тьме лунного полусвета темнели шкаф и этажерка. Стало думаться об утре, о рыбалке, и уже в полудреме Гриша услыхал бабушкино бормотание:

– Зима находит… Желудков запастись… Ребятишкам, детишкам… – бормотала баба Дуня. – Хлебца не хватает, и желудками обойдемся. Не отымайте, Христа ради… Не отымайте! – закричала она. – Хучь мешки отдайте! Мешки! – И рыдания оборвали крик.

Гриша вскочил с постели.

– Бабаня! Бабаня! – крикнул он и свет зажег в кухне. – Бабаня, проснись!

Баба Дуня проснулась. Гриша наклонился над ней. В свете электрической лампочки засияли на бабушкином лице слезы.

– Бабаня… – охнул Гриша. – Ты вправду плачешь? Так ведь это все сон.

– Плачу, дура старая. Во сне, во сне…

– Но слезы-то зачем настоящие? Ведь сон – неправда. Ты вот проснулась, и все.

– Да это сейчас проснулась. А там…

– А чего тебе снилось?

– Снилось? Да нехорошее. Будто за желудями я ходила за Дон, на горы. Набрала в два мешка. А лесники на пароме отнимают. Вроде не положено. И мешки не отдают.

– А зачем тебе желуди?

– Кормиться. Мы их толкли, мучки чуток добавляли и чуреки пекли, ели.

– Бабаня, тебе это только снится или это было? – спросил Гриша.

– Снится,– ответила баба Дуня. – Снится – и было. Не приведи, Господи. Не приведи… Ну, ложись иди ложись…

Гриша ушел, и крепкий сон сморил его или баба Дуня больше не кричала, но до позднего утра он ничего не слышал. Утром ушел на рыбалку и, как обещал, поймал пять хороших бершей, на уху и жарёху.

За обедом баба Дуня горевала:

– Не даю тебе спать… До двух раз булгачила. Старость.

– Бабаня, в голову не бери,– успокаивал ее Гриша. – Высплюсь, какие мои годы…

Он пообедал и сразу стал собираться. А когда надел лыжный костюм, то стал еще выше. И красив он был, в лыжной шапочке, такое милое лицо, мальчишечье, смуглое, с румянцем. Баба Дуня рядом с ним казалась совсем старой: согбенное, оплывающее тело, седая голова тряслась, и в глазах уже виделось что-то нездешнее. Гриша мельком, но явственно вспомнил лицо ее в полутьме, в слезах. Воспоминание резануло по сердцу. Он поспешил уйти.

Во дворе ждали друзья. Рядом лежала степь. Чуть поодаль зеленели посадки сосны. Так хорошо было бежать там на лыжах. Смолистый дух проникал в кровь живительным холодком и, казалось, возносил над лыжней послушное тело. И легко было мчаться, словно парить. За соснами высились песчаные бугры – кучугуры, поросшие красноталом. Они шли холмистой грядой до самого Дона. Туда, к высоким задонским холмам, тоже заснеженным, тянуло. Манило к крутизне, когда наждаковый ветер высекает из глаз слезу, а ты летишь, чуть присев, узкими щелочками глаз цепко ловишь впереди каждый бугорок и впадинку, чтобы встретить их, и тело твое цепенеет в тряском лете. И наконец пулей вылетаешь на гладкую скатерть заснеженной реки и, расслабившись, выдохнув весь испуг, катишь и катишь спокойно, до середины Дона.

Этой ночью Гриша не слыхал бабы Дуниных криков, хотя утром по лицу ее понял, что она неспокойно спала.

– Не будила тебя? Ну и слава Богу…

Прошел еще день и еще. А потом как-то к вечеру он ходил на почту, в город звонить. В разговоре мать спросила:

– Спать тебе баба Дуня дает? – И посоветовала: – Она лишь начнет с вечера говорить, а ты крикни: «Молчать!» Она перестает. Мы пробовали.

По пути домой стало думаться о бабушке. Сейчас, со стороны, она казалась такой слабой и одинокой. А тут еще эти ночи в слезах, словно наказание. Про старые годы вспоминал отец. Но для него они прошли. А для бабушки – нет. И с какой, верно, тягостью ждет она ночи. Все люди прожили горькое и забыли. А у нее оно снова и снова. Но как помочь?

Свечерело. Солнце скрылось за прибрежными донскими холмами. Розовая кайма лежала за Доном, а по ней – редкий далекий лес узорчатой чернью. В поселке было тихо, лишь малые детишки смеялись, катаясь на салазках. Про бабушку думать было больно. Как помочь ей? Как мать советовала? Говорит, помогает. Вполне может и быть. Это ведь психика. Приказать, крикнуть – и перестанет. Гриша неторопливо шел и шел, раздумывая, и в душе его что-то теплело и таяло, что-то жгло и жгло. Весь вечер за ужином, а потом за книгой, у телевизора Гриша нет-нет да и вспоминал о прошедшем. Вспоминал и глядел на бабушку, думал: «Лишь бы не заснуть».

За ужином он пил крепкий чай, чтобы не сморило. Выпил чашку, другую, готовя себя к бессонной ночи. И пришла ночь. Потушили свет. Гриша не лег, а сел в постели, дожидаясь своего часа. За окном светила луна. Снег белел. Чернели сараи. Баба Дуня скоро заснула, похрапывая. Гриша ждал. И когда наконец из комнаты бабушки донеслось еще невнятное бормотание, он поднялся и пошел. Свет в кухне зажег, встал

возле кровати, чувствуя, как охватывает его невольная дрожь.

– Потеряла… Нет… Нету карточек… – бормотала баба Дуня еще негромко. – Карточки… Где… Карточки… – И слезы, слезы подкатывали.

Гриша глубоко вздохнул, чтобы крикнуть громче, и даже ногу поднял – топнуть. Чтобы уж наверняка.

– Хлебные… карточки… – в тяжкой муке, со слезами выговаривала баба Дуня.

Сердце мальчика облилось жалостью и болью. Забыв обдуманное, он опустился на колени перед кроватью и стал убеждать, мягко, ласково:

– Вот ваши карточки, бабаня… В синем платочке, да? ваши в синем платочке? Это ваши, вы обронили. А я поднял. Вот видите, возьмите,– настойчиво повторял он. – Все целые, берите…

Баба Дуня смолкла. Видимо, там, во сне, она все слышала и понимала. Не сразу пришли слова. Но пришли:

– Мои, мои… Платочек мой, синий. Люди скажут. Мои карточки, я обронила. Спаси Христос, добрый человек…

По голосу ее Гриша понял, что сейчас она заплачет.

– Не надо плакать,– громко сказал он. – Карточки целые. Зачем же плакать? Возьмите хлеба и несите детишкам. Несите, поужинайте и ложитесь спать,– говорил он, словно приказывал. – И спите спокойно. Спите.

Баба Дуня смолкла.

Гриша подождал, послушал ровное бабушкино дыхание, поднялся. Его бил озноб. Какой-то холод пронизывал до костей. И нельзя было согреться. Печка была еще тепла. Он сидел у печки и плакал. Слезы катились и катились. Они шли от сердца, потому что сердце болело и ныло, жалея бабу Дуню и кого-то еще… Он не спал, но находился в странном забытьи, словно в годах далеких, иных, и в жизни чужой, и виделось ему там, в этой жизни, такое горькое, такая беда и печаль, что он не мог не плакать. И он плакал, вытирая слезы кулаком. Но как только баба Дуня заговорила, он забыл обо всем. Ясной стала голова, и ушла из тела дрожь. К бабе Дуне он подошел вовремя.

– Документ есть, есть документ… вот он… – дрожащим голосом говорила она. – К мужу в госпиталь пробираюсь. А ночь на дворе. Пустите переночевать.

Гриша словно увидел темную улицу и женщину во тьме и распахнул ей навстречу дверь.

– Конечно, пустим. Проходите, пожалуйста. Проходите. Не нужен ваш документ.

– Документ есть! – выкрикнула баба Дуня.

Гриша понял, что надо брать документ.

– Хорошо, давайте. Так… Ясно. Очень хороший документ. Правильный. С фотокарточкой, с печатью.

– Правильный… – облегченно вздохнула баба Дуня.

– Все сходится. Проходите.

– Мне бы на полу. Лишь до утра. Переждать.

– Никакого пола. Вот кровать. Спите спокойно. Спите. Спите. На бочок и спите.

Баба Дуня послушно повернулась на правый бок, положила под голову ладошку и заснула. Теперь уже до утра. Гриша посидел над ней, поднялся, потушил в кухне свет. Кособокая луна, опускаясь, глядела в окно. Белел снег, посверкивая живыми искрами. Гриша лег в постель, предвкушая, как завтра расскажет бабушке и как они вместе… Но вдруг обожгло его ясной мыслью: нельзя говорить. Он отчетливо понял – ни слова, ни даже намека. Это должно остаться и умереть в нем. Нужно делать и молчать. Завтрашнюю ночь и ту, что будет за ней. Нужно делать и молчать. И придет исцеление.

1986